

История и политика: конфликт интерпретаций

Критическое осмысление прошлого в его неразрывной взаимосвязи с современностью – не только признак социального здоровья общества, но и одно из условий его динамичного развития. Однако поиск исторической правды всегда сопряжен с конфликтом интересов. Субъективизм исследователя, социальный, политический и прочие “заказы”, цензура – вот далеко не полный перечень факторов, воздействующих на процесс воссоздания и интерпретации ученым прошлого. Анализ этой проблемы было посвящено заседание “круглого стола” в Центре “XX век: социально-политические и экономические проблемы” (руководитель – доктор исторических наук, профессор **Евгений Юрьевич СЕРГЕЕВ**) при Институте всеобщей истории Российской академии наук. В дискуссии участвовали: доктора исторических наук **Александра Юрьевна БАХУРТИНА**, **Артем Акопович УЛУНЯН**, **Вячеслав Корнелиевич ШАЦИЛЛО**; кандидаты исторических наук **Лейла Мусаевна БУХАРМЕДОВА**, **Василий Павлович ЖАРКОВ**, **Маргарита Михайловна КОНОНОВА**, **Марианна Борисовна КОРЧАГИНА**, **Ирина Анатольевна КУКУШКИНА**, **Елена Юрьевна ПОЛЯКОВА**, **Сергей Александрович РОМАНЕНКО** и **Николай Юрьевич СТЕПАНОВ**. Наиболее содержательные моменты обсуждения обобщены редактором отдела журнала “Общественные науки и современность” кандидатом исторических наук **Владиславом Геннадьевичем СТЕЛЬМАХОМ**.

Первоосновы конфликтности: политическая практика против исторической реальности

Е.Ю. Сергеев: Сегодня наш Центр проводит “круглый стол”, посвященный чрезвычайно актуальной и многоаспектной проблеме соотношения в общественном дискурсе истории и политики. В этой связи стоит сосредоточиться на таких, на мой взгляд, принципиальных вопросах:

– представляет ли политизация гуманитарного знания вообще и исторической науки в частности особый тип связи научного знания и социальной практики, и не возникает ли тут конфликт интерпретаций?

– можем ли мы вслед за Е. Топольским говорить о необходимости для историка “нейтрализовать” вненаучные, в частности идеологические, религиозные, воззрения и личные пристрастия в процессе реконструкции прошлого и стоит ли в этой связи вообще говорить о “профессиональной автономии” исследователя?

– возможна ли абсолютная деидеологизация исторической науки или мы имеем дело с самообманом историков при положительном ответе на данный вопрос?

Разумеется, мы все отдаем себе отчет, что эти и другие проблемы, которые, очевидно, возникнут в ходе дискуссии, потребуют дальнейшего обмена мнениями. Если это случится и диалог будет продолжен, то участники сегодняшней встречи, видимо, смогут считать ее цель во многом достигнутой.

М.М. Кононова: Взаимосвязь истории и политики очевидна. Как писал С. Соловьев, “жизнь имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни”. Но и их конфликт объективен, в силу несоответствия задач исторической науки – выявления подлинных законов и механики исторического процесса и целей любой политической системы – создания оптимальных (применительно к ее рамкам) механизмов управления обществом. Русская историческая мысль в своем

преемственным развитии с конца XVII в. до того момента в XX в., когда история благодаря М. Покровскому была объявлена “политикой, опрокинутой в прошлое”, осознавала онтологический характер исторической науки и ее призвание давать человеку четкие представления о добре и зле. Подобное понимание истории непосредственно сближало ее с моральной философией: В. Ключевский считал, что историк должен быть провиденциалистом и моралистом.

В этой ипостаси история неизбежно вторгалась в сферу интересов политики, традиционно отделенной от нравственности, непроницаемой для онтологических идей, но активно использовавшей исторические факты для построения различных доктрин и концепций, укрепляющих государственную власть. Вспомним, например, подготовку “Исторической книги” по велению царя Федора Алексеевича; издание по указу Петра I “Введения краткого во всякую историю...” (1699); создание графом С. Уваровым теории “официальной народности” и т.д. В советский же период история, превращенная в орудие классовой борьбы, начисто утратила свою онтологическую суть, которую заменил принцип партийности.

Жесткое воздействие государственной власти на развитие исторической мысли в России (от изгнания из университетов неугодной профессуры в дореволюционное время до советских публичных “судилищ”), во-первых, обусловило латентное подстраивание исторического познания под политический контекст. Еще Петр I, приобщая дворянство к просвещению и наукам, предложил ему новую форму служения Отечеству посредством научной деятельности. Эта идея стала основой великодержавного патриотизма ряда отечественных историков, руководствовавшихся ею при изложении исторического материала. При этом они не выполняли официальный “заказ” власти, а искренне следовали своим убеждениям; их государственно-исторические идеи были определены их мировоззрением, а не продиктованы “сверху”.

Во-вторых, давление “политической целесообразности” на научную среду создал слой посредственных историков – трансляторов официальной идеологии, конформистски проводивших заданную идеологическую линию. Подобный потребительский подход к истории, приводивший к нравственной ее порче, возник отнюдь не в советское время. Как писал в 1916 г. С. Веселовский, я давно и постоянно испытываю тягостное чувство пустоты, расхолаживающее влияние этой тупой, эгоистической, плебейски завистливой и прозаически настроенной ученой братии.

В-третьих, болезненной реакцией на доминирование в исторической науке идеи государства стало развитие тенденции к гиперкритицизму государственных начал. С появлением в русском обществе особого просвещенного слоя – интеллигенции, оппозиционной государственному строю, все исторические концепции, позитивно его оценивавшие, признавались несостоятельными. В начале XX в. специфика развития общественно-политической жизни в России привела к тому, что некоторые крупные историки стали оппозиционными политическими деятелями, а их научные труды превратились в обоснование политической позиции – либеральной (П. Милюков, А. Кизеветтер) или радикальной (Покровский). Словом, политика вторглась в историческую науку с другого конца.

В.П. Жарков: Идеологические искания современных российских историков и политологов по большей части связаны с выработкой “образа будущего”, однако определенное место в них отводится и оценкам прошлого страны. Логика развития Российского государства в период 2000–2008 гг. обусловила выработку новой “объединяющей идеологии”, основой которой в настоящее время можно считать определение “суверенная демократия” (термин В. Суркова), успевшее попасть во многие учебные пособия по истории. В рамках этого концепта осуществляются наиболее значимые идеологические проекты, направленные на переосмысление ключевых событий российской истории. Среди них:

– введение нового государственного праздника – “Дня народного единства” (4 ноября) в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 г., заменившего “День согласия и примирения” (7 ноября). Праздник отмечается на государственном

уровне уже четыре года и сопровождается особой информационной и идеологической поддержкой;

– концептуализация официально утвержденных школьных учебников и учебных пособий по отечественной истории XX в., в которых оценка ключевых событий недавнего прошлого дается с позиций интересов государства (в том виде, как их понимают заказчики и авторы учебников). В 2007–2008 гг. в рамках государственного заказа издательство “Просвещение” выпустило в свет учебные комплекты по истории России (1900–1945 гг. и 1945–2008 гг.). В них декларируются “отказ от концепции тоталитаризма в оценке событий в СССР 1930-х и последующих годов” и акцентируется внимание на объяснении “мотивов и логики действий власти”;

– “Имя России” – “общенародные” выборы самой приметной и символичной личности российской истории: телевизионное шоу с участием известных российских актеров, политиков и ученых. Начало данного проекта в августе 2008 г. сопровождалось скандалом, связанным с “победой” И. Сталина, объясняемой некорректно организованным его поклонниками интернет-голосованием. Дальнейшая реализация этой идеи сопровождалась упреками в подтасовке результатов и фактологических ошибках.

Общим фоном упомянутых проектов (вне зависимости от формата) была их скандальность и неоднозначность с точки зрения последствий для общественного сознания. Во многом все это объясняется, во-первых, изначально ограниченным участием представителей исторической науки в выработке и экспертизе “новой исторической концепции”. Идея каждого проекта возникала вне академической среды, а разрабатывалась и осуществлялась как политтехнологическое мероприятие с минимальным учетом мнения научной экспертизы. Статусные ученые привлекались для исправления допущенных ошибок, но чаще для “придания веса” и *PR*-прикрытия. Во-вторых, игнорированием общеизвестных научных фактов и теоретических разработок. Яркий пример – выбор даты 4 ноября для празднования дня освобождения Москвы от поляков, тогда как капитуляция польского гарнизона в Кремле произошла 26 октября 1612 г. по юлианскому календарю, то есть **5 ноября** по григорианскому. В-третьих, тенденцией к утверждению консервативного (державно-националистического) подхода в оценке прошлого России. Выход из Смуты начала XVII в. связывается с восстановлением в России монархии и централизованного управления (неудивительно, что праздник “День народного единства” оказался “приватизированным” националистами). По мнению значительной части историков, в учебниках по новейшей истории России предпринимаются попытки оправдания сталинщины под видом “рационализации” действий власти в 1930–1940-е гг.

Попытки создания идеологических концептов отечественной истории, предпринимаемые в последние годы, связаны с потребностями развивающегося самосознания правящих верхов в отношении будущего и прошлого страны. При этом не делается различий между наукой и идеологией, история рассматривается сугубо как вспомогательный инструмент в построении идеологических клише. В условиях недостаточных коммуникаций между гражданским обществом и властью позиция ученых-историков остается либо не услышанной, либо проигнорированной властями. Создаваемый на скорую руку новый “исторический миф” страдает от внутренних противоречий и практически не связан с историей как наукой, являя собой политический конструкт.

С.А. Романенко: “Лабораторный” пример развития, но главное, последствий конфликта интересов истории и политики дает анализ исторического сознания и самосознания на постъюгославском пространстве. Напомню в этой связи, что *транзичия* – переход распадавшейся СФРЮ от социализма к капитализму и от “народовластия” к демократии был отмечен очень высоким уровнем конфронтации, к раздуванию которой приложила немало усилий и историческая наука.

Ее традиционно отличал запределный уровень этнополитической ангажированности. Югославская историческая наука была “обязана” доказывать легитимность требований национальных движений южных славян в Австро-Венгерской и Османской империях; обосновывать собственные этнотерриториальные притязания и опро-

вергать таковые со стороны соседей (Италии, Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании); утверждать историческую закономерность возникновения королевской и “титовской” Югославии; отражать нападки буржуазной, эмигрантской и, наконец, советской историографии.

Постъюгославская наука стала средством этнической мобилизации. Сербская, хорватская, боснийская, словенская, македонская, черногорская и косовско-албанская историографии исполняли “защитную” и “наступательную” функции в межэтническом взаимодействии. К этому добавилась и необходимость оправдания политики созданных в ходе кровопролитных войн 1991–1992 гг. независимых Балканских государств и их первых лидеров. Это, кстати, подтверждает тот факт, что войны рождаются в головах людей, в том числе историков.

В исторической науке новых стран региона создалась своеобразная ситуация: в ней представлены три идеологических направления: марксизм в “титовском” варианте; подражание различным западноевропейским и североамериканским научным школам; радикальные толки национализма, трактующего окружающий мир в этноисторических категориях. Многие ученые стали, как ранее, обслуживать интересы власть имущих. Это неизбежно привело к столкновению в их сознании интересов карьеры с принципами профессионализма. И часто выбор делался не в пользу последнего. В результате труды подобных историков стали играть роль духовного “оружия”. Им стало выискивание в истории наиболее болезненных проблем и событий межэтнических отношений, а также поиск “доказательств величия” своего народа в ущерб другим. При этом историки стремились даже не доказать свою правоту, а уязвить и унижить оппонента, возложить вину за происходящее на соседний народ в целом. Югославский опыт позволяет выделить несколько основных приемов и форм такой историко-этнополитической пропаганды:

- замалчивание объективной информации об истории своего и других народов;
- выдергивание из контекста отдельных событий и тенденциозная их трактовка, подмена анализа эмоциями;
- апелляция к этническим стереотипам и мифам как к доказанным фактам; некорректное использование исторических аналогий, исходящее из тезиса о неизменности духа, психического склада и характера этноса, а также стабильности геополитических интересов государства;
- стирание грани между собственно историческим и политическим сознанием, а также отождествление этнического и конфессионального самосознания;
- активное использование концепции “мирового заговора” или “внешних обид” того или иного народа со стороны “великих держав”.

Что же касается вопроса о том, существует ли вообще неангажированная историография, то представляется, что нужно различать ангажированность – нечестное и/или непрофессиональное исследование и личный взгляд историка, обусловленный его воспитанием, образованием, индивидуальной судьбой, принадлежностью к различным социальным группам и т.д. Персональная позиция ученого должна оцениваться точно так же, как и иных действующих в истории лиц, – с позиций историзма. В конце концов, каждый историк – дитя своего времени.

Н.Ю. Степанов: Полемика среди русской эмиграции “первой волны” об историческом значении и смысле русской революции – яркая иллюстрация того, как политические взгляды историка или публициста легко трансформируются в пристрастия, плодом которых выступают несхожие между собой картинки недавнего для них прошлого. Так, для носителей левых взглядов осознание факта попрания коммунистической властью в СССР человеческой личности привело к изменению основ мировоззрения: Октябрь 1917 г. стал рассматриваться ими как национальная катастрофа. Парадоксально, что их позиция, по крайней мере, внешне, лучше всего коррелировалась с позицией правых, видевших в революции в России начало полного развала и дезорганизации страны. Хотя, естественно, между подходом левых и правых лежала непроходимая пропасть. Если первые надеялись, что пролетариат сможет побудить

власть к демократизации общества, то вторые были убеждены, что революция, поставившая Россию на край гибели, являла собой Божью кару, страдание, трагедию.

Для представителей так называемых пореволюционных течений русской общественной мысли (сменовеховство, возвращенчество, евразийство) Октябрьская революция 1917 г. была закономерностью, и это означало принципиальное отрицание возможности и целесообразности реставрации в стране дореволюционного порядка. Поэтому все “пореволюционеры” настаивали на том, что путь к новой России лежит не через разрушение советской действительности, но ее творческое преобразование.

Естественно, каждый исследователь в зависимости от своей точки зрения выстраивал, по существу, собственную фактографию рассматриваемого им периода. В результате при изучении эмигрантской историографии Октября 1917 г. возникает, пусть иллюзорное, представление, будто речь идет о разных событиях и даже эпохах.

Ар.А. Улунян: Особая область контактирования истории с политикой – ставшие популярными в системе международных отношений геопространственные теории, актуальность которых, по убеждению их разработчиков, обусловлена:

- необходимостью определения внешнеполитического вектора государств;
- субъектной потребностью в пространственном позиционировании отдельных стран или их групп в региональном или глобальном масштабе;
- требованием синхронизации изменений в распределении мировых центров силы с потребностями внешнеполитического курса соответствующих стран в контексте имеющихся у них политических, военно-стратегических и экономических возможностей.

В разработке этих построений особую роль играет исторический субстрат: сложившиеся исторические, этнические, конфессиональные и культурные элементы. Строго говоря, именно его приложение к континуитету пространственного взаимодействия и факту близости регионов придает геостратегическим моделям “легитимность” в общественном мнении. Подавляющая их часть распространяется на широкую географическую полосу, охватывающую территории Северной Африки, Европы и Азии. Это обусловлено стратегической важностью имеющегося там многоэлементного военного, коммуникационного, экономического и демографического потенциалов.

Проблема в том, что хотя формулирование различных версий политических геопространственных концептов рубежа XX–XXI вв. и проходит в рамках исторического подхода, историко-культурная реальность интерпретируется их авторами в конкретных внутри- и внешнеполитических условиях и с учетом интенций политического класса. Поэтому особенности формирования политико-географических образов конкретных регионов (создание “ментальных карт”) и концептуальное объединение геопространственных массивов идет при доминировании политической аргументации над фактором этнокультурных особенностей и исторических традиций стран–объектов геополитики.

Так, возьмем один из наиболее известных и обсуждаемых геоисторических конструкций – проект “Новые Балканы”. Он направлен на “дебалканизацию” посткоммунистических государств полуострова – изживание негативной части балканского исторического наследия при сохранении национальной культурно-исторической идентичности, то есть снижение уровня конфликтности региона. В этом конструкте явно просматривается следующее: конкретное географическое понятие “Балканы” постепенно уступает место новым образам, обозначающим отдельные части региона – “Южные”, “Западные” и даже “Восточные” (Молдова) Балканы.

По аналогичным причинам амбициозный проект “Большого Среднего Востока” страдает выраженной арабцентричностью, которая в немалой степени была проявлением общего для многих экспертов и представителей политического класса государств евроатлантического сообщества мнения об этноконфессиональном единстве арабского мира. Сыграло свою роль и исторически необоснованное гипертрофированное внерегиональное восприятие ислама как общекультурной основы для конструирования нового регионального единства. Нереализуемый концепт “Большого Среднего Востока”

затем трансформировался в еще более грандиозную “Инициативу Широкого Среднего Востока и Северной Африки”.

В реструктуризации географического пространства азиатского континента особое место занимает проект “Большой Центральной Азии”. Этот идеологический конструктор, изначально восходящий к тюркскому этноцентризму, после включения в него по военно-прикладным причинам Афганистана расширился до этногеографического проекта “туранской взаимности”. Тем самым авторы новой геополитической конструкции не только “обогатили” ее еще одним острым этноконфессиональным конфликтом, но и затронули вопросы, исторически имевшие непосредственное отношение к стратегическим интересам Ирана.

Это активизировало формулирование встречного геопространственного проекта. Причем у сформировавшегося в иранской версии концепта “Ирон замин” (земля Ирана) есть куда более реальное культурно-историческое начало, не говоря о пространственно-географической проекции зоны влияния и распространения фарсиязычной культуры. Охватывая широкий географический сектор Евразии, он включает народы, населяющие не только Иранское плато, но и часть Кавказа и правобережье реки Инд. Упомянутый проект получает возрастающую поддержку общества и правящих кругов ряда государств Среднего Востока, предполагая сближение родственных в культурно-лингвистическом и этноисторическом отношениях стран и народов в рамках содружества с условным названием “Иранская Ассамблея”.

Общественный дискурс и переписывание истории

Е.Ю. Сергеев: Феномен реинтерпретации тех или иных исторических реалий часто связан с возникновением в ученом мире новых научных смыслов, меняющих концептуальное видение прошлого. Так, традиционный взгляд на события первой половины XX в., восходящий к изолированному рассмотрению мировых войн, политических и экономических кризисов, революционных движений, давал достоверную, но однолинейную картину того периода. Однако она становится иной, если осмысливать накопленный массив данных с позиций исторической компаративистики (“новой компаративной” или “связанной” истории), перенося акцент с исследования специфики локальных контекстов на изучение общих глубинных исторических взаимосвязей и определение эпистемологии мультидисциплинарного поиска.

Например, сопоставление тенденций развития человечества в период 1914–1945 гг. с Тридцатилетней войной 1618–1648 гг. – аналогичным по длительности и значимости общеевропейским конфликтом – позволяет увидеть в интересующем нас хронологическом отрезке трансформационное или “осевое” время, сформировавшее облик постиндустриальной цивилизации. Это дает возможность сконструировать модель кризисных переходных эпох, которая вольно или невольно приходит в противоречие со многими привычными историческими представлениями.

И первая, и “вторая” Тридцатилетние войны были “эпохами катастроф” (термин С. Хантингтона), и ощущение тотального кризиса основ европейской цивилизации не покидало их современников. Эти “войны всех против всех” сопровождались крушением традиционных мировоззренческих принципов, образованием духовного вакуума, неким “распадом времен”, столь точно отраженным в творениях В. Шекспира и, соответственно, в философских эссе О. Шпенглера. Но в противоборстве старых и новых общественных сил, будь то соперничество городов с сеньорами и католиков с протестантами в XVII в. или классовая борьба пролетариата и предпринимателей в XX в., рождались новые формы существования и взаимодействия обществ и государств.

Концептуальное сопоставление первой и “второй” Тридцатилетних войн показывает, что при всех глубинных различиях, обусловленных стадийными особенностями, последствия этих критических для европейской и всемирной истории периодов типологически сопоставимы. И не только по причине удивительного сходства изменений, которым подверглись стратегия и тактика ведения боевых действий, система

логистического обеспечения театра военных действий и т.д. Гораздо существеннее – аналогии трансформаций геополитического ландшафта Европы в результате обеих “полос” войн и нестабильности, а также четкая фиксация на длительный срок международно-правовых гарантий соответствующего миропорядка – Вестфальского и Ялтинско-Потсдамского.

Эпоха 1618–1648 гг. в политическом плане, по существу, воссоздала на новой основе абсолютистские режимы и ввела в практику международной жизни принцип “концерта держав”. Темпоральный интервал 1914–1945 гг., похоронивший правототалитарную и одновременно подготовивший крах левототалитарной перспективы политического развития европейских стран, привел к возникновению на международной арене феномена биполярного миропорядка. Иначе говоря, завершение “периода катастроф” XVII в. означало победу раннего индустриализма, а аналогичного по сопоставимым параметрам отрезка XX в. – установление развитого индустриального строя, открывшего дорогу современному процессу глобализации и социальной мобильности со всеми положительными и отрицательными последствиями.

Е.Ю. Полякова: Существует мнение, что история – политика, обращенная в прошлое. Перефразируя это высказывание, можно сказать, что политика – история, обращенная в настоящее. Несмотря на упрощенность такого подхода, нельзя отрицать, что история и политика тесно взаимосвязаны.

Любой исторический труд сам по себе – памятник породившей его эпохи, отражение конкретного общественного дискурса, соответствующего достигнутому уровню знаний. И само общество, и способы его познания, в том числе исторического, находятся в постоянном развитии. Когда мы говорим, что некое историческое издание устарело, это означает отражение изменения общественных взглядов, не удовлетворенных существующей интерпретацией. Пересмотр исторических концепций или ревизионизм – явление, присущее исторической науке, признак ее развития (конечно, в том случае, если оно не продиктовано конъюнктурными соображениями). Исходя из этого и нужно рассматривать вопрос о традиции, преемственности или конфликте интерпретаций исторического знания.

В.К. Шацлло: Появившись в определенном социально-политическом контексте, исторический миф обретает самостоятельную жизнь, по сути задавая концептуальный вектор дальнейших исследований. В отечественной и немецкой историографии, например, по сию пору доминирует точка зрения, что слишком тяжелые и несправедливые условия Версальского мира, вызвав среди немецкого населения чувство глубокой обиды на победителей, немало способствовали взрыву в обществе национализма и реваншистских настроений, которые в последующие десятилетия способствовали приходу к власти нацистов.

Но был ли Версальский мир по отношению к Германии настолько жестким, что через 20 лет заставил немцев взяться вновь за оружие? Согласно его условиям, Германия практически не потеряла ни пяди исконно немецкой земли на своих западных границах. Более того, в 1918 г., в отличие от 1945 г., разгромив немецкую армию, союзники отказались от ведения военных действий на немецкой территории. Наиболее существенные территориальные потери немцы понесли на востоке, но и здесь отошедшие от Германии земли населяли в основном поляки (да и сам Берлин еще совсем недавно выступал в качестве поборника независимости Польши, правда, только российской ее части).

Характерно также, что после окончания Первой мировой войны никому не могло прийти в голову принимать какие-либо карательные меры в отношении немецкого гражданского населения. Его никто не депортировал из Судетской области, Данцига, Восточной Пруссии, Силезии, тогда как после 1945 г. в этих землях практически не осталось ни одного этнического немца: все они были депортированы, а их имущество – конфисковано. Но ныне никто всерьез не говорит об унижительности для Германии Потсдамского мира и о реальной возможности возрождения на этой основе реваншизма и агрессивных амбиций. А “веймарская теория” не просто сохраняется в силу некой естественной ригидности сознания историка, но и эволюционирует до

концепции “веймарского синдрома” (предфашистской стадии развития социума), вопреки историческим фактам прикладываемой, например, к современной России и постсоветскому пространству.

Л.М. Бухармедова: Переход общества от авторитаризма к демократии ощутимо влияет на интерпретацию событий новейшей истории. Ее эволюцию можно проиллюстрировать на примере испанского *транзисьона*. Сперва пакет соглашений о демократизации рассматривался как эталонный, поскольку по наиболее острым вопросам политического устройства страны был достигнут консенсус, оформленный конституцией 1978 г. Но эйфория от мирного конца франкизма прошла, “пиршество для политологов” закончилось и настало время более глубокого осмысления ситуации.

Появилась плеяда историков, для которых успешное завершение “транзисьона” не заслоняет опасностей и драматизма событий, которые пришлось пережить его современникам. Полемизируя с представляющими испанский переход как хорошо срежиссированный верхушечный проект, историки подвергают переоценке роль, сыгранную в нем рядовыми гражданами страны. Проведенные в последние годы тщательные исследования развенчали представление о том, что испанцы не проявляли достаточной активности в тех событиях: только в Мадриде с 1976 по 1987 г. прошло 37 манифестаций, в которых приняли участие более 100 тыс. человек.

Без сомнения, конституционный строй, установившийся в Испании в 1978 г., явил со временем свои слабые стороны, делающие его уязвимым для разного рода критики, которая облегчается тем, что само государство мало заботилось о придании исторической ценности и значимости этому столь важному периоду испанской истории. Отсюда – ревизионистский подход с акцентом на сохранении элементов прежнего режима в нынешнем государственном устройстве страны. Таким образом, по мере развития в Испании демократии и приобретения ее населением гражданского опыта меняется видение научным сообществом вроде бы общепризнанных вещей. Так что и спустя 30 лет после принятия Конституции 1978 г. остаются актуальными слова известного испанского историка Х. Туселя, что поле деятельности для реконструкции истории испанского “транзисьона” огромно.

А.Ю. Бахуртина: Схоластические споры о роли российской экспансии в Средней Азии в XIX в., развернувшиеся в советской исторической науке до начала Великой Отечественной войны, служат иллюстрацией воздействия общественного дискурса на исторические исследования. Концепция жестокого угнетения народов России царизмом полностью соответствовала лозунгам интернационализма первых послеволюционных лет и задачам национально-государственного строительства первой половины 1920-х гг., что и предстояло доказать советским историкам. В 1921 г. была опубликована работа Г. Сафарова “Колониальная революция”. В ней автор, опираясь на марксистский тезис о революционной роли буржуазии в истории и высказывание Ф. Энгельса в письме к К. Марксу (1851 г.) о том, что русское господство со всей его пошлостью, со всей его славянской грязью, было цивилизующим для Центральной Азии, сделал вывод: колониальный захват Туркестана русскими ускорил там переход от феодализма к торговому капитализму. Эта работа стала началом дискуссии о прогрессивной роли капитализма в колониях. Одним из оппонентов Сафарова стал А. Силонов, считавший, что насильственное вторжение в экономику со стороны метрополии замедляет естественное развитие производительных сил колонии.

Его вывод подвергся критике. Основным аргументом против Силонова были не исторические данные, а точка зрения Маркса о том, что колониальная система европейских стран облегчает превращение феодализма в капитализм. Так, ко второй половине 1920-х гг. в историографии оформилось мнение, что присутствие России в Средней Азии в целом играло прогрессивную роль, независимо от конкретного экономического эффекта. Однако уже в начале 1930-х гг. данный тезис был “опровергнут” как троцкистский посредством высказываний В. Ленина о том, что развитие капитализма в среднеазиатских владениях России совершилось бы гораздо легче, если бы там не было чужеземного гнета.

В этих дискуссиях отчетливо прослеживается влияние политической конъюнктуры периода становления и развития федеративных отношений в СССР. Во время национально-государственного размежевания необходимо было подчеркнуть равенство всех республик и показать прогрессивную роль тесной связи Средней Азии с Россией. В начале 1930-х гг., напротив, начинается поиск аргументов в защиту централизованного государства, наиболее веским из которых в конечном итоге была признана теория “наименьшего зла”, выдвинутая в 1937 г. А. Шестаковым. Она оправдывала российское господство в Средней Азии, но одновременно оставляла поле для критики национальной политики царизма.

Самое существенное в этой исторической полемике то, что противоречия в оценках национальной политики царской России, в тот или иной период доминировавших в советской историографии, невозможно рассматривать в категориях научного анализа, восходящего к первоисточникам. Напротив, ее участники в меру своего “понимания момента” стремились по преимуществу следовать методологическим установкам. Поэтому наиболее “правильными”, то есть идеологически верными становились как раз те исследования, чьи авторы практически не обращались к источникам. Ведь их использование обычно приводило к выводам, которые довольно сложно было уместить в прокрустово ложе требуемой в данный момент концепции.

И.А. Кукушкина: Репрезентативный пример того, как политика подминает под себя историю – советские исследования социал-демократии. Методологическая основа подхода отечественных историков к этому идейному течению как главному идейному противнику большевиков была заложена Лениным в докладе на VII съезде РКП(б), где социал-демократы были названы “социал-шовинистами” и “настоящим тормозом рабочего революционного социалистического движения, настоящей помехой ему”. В результате для советской историографии социал-демократического движения вплоть до конца 1980-х гг. были характерны:

- резко отрицательная оценка идей социального партнерства, противоречащих тезису о классовой борьбе как главной движущей силе общественного развития;
- “партийность” и “пролетарский интернационализм”, понимаемые как безоговорочное утверждение “руководящей и направляющей” роли коммунистических партий.

Еще одним часто применяемым в работах советских историков принципом была фигура умолчания. До начала 1970-х гг. даже простое цитирование идейных оппонентов приравнивалось к “пропаганде” их взглядов. Затем неофициальный запрет на цитирование был частично снят, но историки были вынуждены замалчивать некоторые “неудобные” для компартий факты, в частности, установку Коминтерна на фактическое разрушение социал-демократических партий и создание “единого фронта” на основе безоговорочного следования курсу коммунистов.

М.Б. Корчагина: Когда речь идет о влиянии общественного дискурса на интерпретацию истории, часто от внимания исследователей уходит одно важное обстоятельство: нежелание общества, включая его думающую часть, знать правду. Пример тому – отторжение диссидентской интеллигенцией СССР движения “новых левых” на Западе. Независимо от конкретных форм своего проявления, будь то бунт студентов во Франции и Италии или же Пражская весна 1968 г., оно объективно было направлено на поиск новой социальной парадигмы. Требования гражданской эмансипации и широкой демократизации изменили весь образ жизни совокупного Запада, где сложилась политическая культура, ориентированная на человека как на суверенную и самоценную личность, имеющую право на сопротивление несвободе и, соответственно, власти.

Для советского партийного и государственного руководства взрыв демократического молодежного движения (впрочем, так же, как и для правительств и политических партий западных стран) стал полной неожиданностью. Реакция была двойственной: его приветствовали как союзника в борьбе с капитализмом и одновременно осуждали за нежелание видеть в коммунистических партиях направляющую силу этой борьбы. Ни о каком “третьем пути” не могло быть и речи. Советское партийное руководство

объявило “новых левых” анархистами, несмышленными хиппи и свело “бунт студентов” к сексуальной революции и наркомании.

Ирония истории состоит в том, что передовая часть советских интеллектуалов восприняла предложенный официальной пропагандой миф о “новых левых”. Причиной этого был, во-первых, консерватизм общественного сознания – убеждение в том, что беды нашей страны уникальны. Не всем противникам советской власти удавалось, подобно Е. Гнедину, понять и обобщить пафос молодежного протеста на Западе. Оценка “с жиру бесятся” (под этим понимались уровень материального достатка и объем демократических свобод на Западе) превалировала. Такой позиции долгое время придерживался даже А. Сахаров.

Во-вторых (и эта причина также связана с нашим непереосмысленным советским прошлым), сыграло роль закостеневшее, шаблонное представление о революционных изменениях общества. Мысль о том, что феномен социальной революции исторически обусловлен, хотя и может меняться по форме и содержанию, вызывала отпор не только у партийных чиновников. Писатель-диссидент Л. Копелев, вспоминая беседу Е. Гинзбург с независимым французским журналистом, рассказывал о ее эмоциональной реакции на аргументы гостя: “Да как можно говорить о революции после всего, что было? Все революции преступны. Безнравственны! Бесчеловечны!.. Вы пресыщенные снобы, вы с жиру беситесь, сами не понимаете, что делаете! Вы себя погубите, в конце концов”. Потом журналист сказал Копелеву: “Гинзбург – замечательная женщина. Я и раньше знал, что она прекрасная писательница. А вчера любовался ее пылом, ее молодой страстностью. Она была похожа на наших студенток, на самых радикальных, тогда в мае. Но она их проклинает, не хочет понимать. Это ужасно, что лучшие ваши люди становятся такими убежденными реакционерами. Это одно из самых жестоких последствий сталинизма” (цит.по: www.belousenko.com/wr_Kopelev.htm).

Все сказанное говорит о том, что дихотомическая картинка мира, разделенного на “черное” и “белое”, на “своих” и “чужих” и т.п., по-своему удобна. Другой вопрос, что общество, привыкшее воспринимать реальность в виде бинарных оппозиций, вряд ли захочет получить от историков объективный и потому сложный образ прошлого.

Е.Ю. Сергеев: Вряд ли можно и нужно отрицать наличие тесной связи гуманитарного знания и исторической науки с общественной практикой. Именно этой взаимозависимостью обусловлена объективная компонента политической ангажированности историка. Но как справедливо отмечали многие коллеги, не следует сбрасывать со счетов субъективную пристрастность исследователя, который преломляет исторический нарратив через призму собственного восприятия действительности.

Поэтому вопрос о “профессиональной автономии” ученого-гуманитария, способного “нейтрализовать” идеологические влияния в ходе поиска истины, не может быть решен однозначно, особенно, если интерпретировать события прошлого с позиций моральной философии или использовать мобилизирующую функцию исторической науки в политических целях. В то же время ответ на волнующий специалистов и широкую общественность вопрос о постоянном переписывании истории в соответствии с изменяющимся общественным дискурсом, как мне представляется, не должен быть однозначно негативным. Причины этого явления могут быть связаны с появлением новых данных, переоценкой известного материала, возникновением нового угла зрения на процессы, протекавшие в прошлом. Отсюда следует, что такое переписывание вызывается прежде всего изменением смыслов, придаваемым каждым следующим поколением тому или иному историческому событию.

Заметное воздействие на интерпретацию новейшей истории накладывает неизбежность деидеологизации исторического знания. Это – результат демократического транзита от тоталитаризма (авторитаризма), который деконструирует не только ангажированную политизацию историка, но и искренний его самообман, тем самым меняя представления о событиях сравнительно близкого прошлого.